



Альфред Додд

САФФ

СЕДЬМАЯ КНИГА



Альфонс Доде

Сафо

«Седьмая книга»

1884

Доде А.

Сафо / А. Доде — «Седьмая книга», 1884

Кокотки, куртизанки и проститутки. Париж Альфонса Доде предлагает небольшой выбор для женщины, живущей за пределами традиционной семьи. Меняются только даты на календаре, эпохи и декорации. Страсти и поведение людей остаются из века в век всё теми же.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	17
Глава 4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Альфонс Додэ

Сафо

Глава 1

- Ну, взгляните же на меня... Мне нравится цвет ваших глаз... Как вас зовут?
- Жан.
- Просто Жан?
- Жан Госсен.
- Вы – южанин, это слышно по говору... А сколько вам лет?
- Двадцать один год.
- Художник?
- Нет сударыня.
- Неужели! Тем лучше!

Этими отрывочными фразами, едва слышными среди криков, смеха и звуков музыки, под которую танцевали на маскированном балу, обменивались в июньскую ночь, в оранжерее, переполненной пальмами и древовидными папоротниками и занимавшей глубину мастерской Дешелетта, египтянка и итальянский дудочник.

На настойчивые вопросы египтянки итальянский дудочник отвечал с наивностью его нежной молодости, с радостью и облегчением южанина, долго просидевшего молча. Чужой среди этого мира художников, скульпторов, разлученный при входе с другом, привезшим его на бал, он два часа томился, ходил в толпе, привлекая к себе внимание своим красивым лицом, с золотистым загаром, с белокурыми выщипавшимися волосами, короткими, густыми, как завитки на бараньей шкуре его костюма; успех, которого он и не подозревал, рос вокруг него, возбуждая шепот.

Его то и дело толкали танцоры, молодые живописцы высмеивали и его волынку, которую он неловко держал в руке, и его старое платье горца, казавшееся тяжелым и неуклюжим в эту летнюю ночь. Японка, с глазами, выдававшими девушку из предместья, со стальными кинжалами, поддерживавшими её взбитый шиньон, напевала ему, выводя его из терпения: «Ах, как хорош, как хорош наш маленький почтальон!..» меж тем как молодая испанка, в белых, шелковых кружевах, проходя под руку с вождем апашей, настойчиво совала ему в нос свой букет из белых жасминов.

Он ничего не понимал в этих заигрываниях, считал себя крайне смешным, и укрывался в прохладной тени стеклянной галереи, где в зелени стоял широкий диван. Вслед за ним вошла и села с ним рядом эта женщина.

Была ли она молода, красива? Он не сумел бы этого сказать... Из длинного, голубого, шерстяного хитона, в котором колыхался её стан, виднелись руки, тонкие, округлые, обнаженные до плеч; крошечные пальчики, унизанные кольцами, серые, широко открытые глаза, казавшиеся еще больше от причудливых металлических украшений, ниспадавших ей на лоб, – сливались в одно гармоничное целое.

Актриса, без сомнения... Их немало бывает у Дешелетта... Мысль эта не обрадовала его, так как такого рода женщин он особенно боялся. Она говорила подсев совсем близко, облокотясь на колено и подперев рукой голову, говорила нежным, серьезным, несколько утомленным голосом...

– Вы в самом деле с юга? откуда же у вас такие светлые волосы?... Это прямо необыкновенно!

Она спрашивала, давно ли он живет в Париже, труден ли консульский экзамен, к которому он готовился, много ли у него знакомых, и каким образом очутился он на вечере у Дешелетта, на улице Ром, так далеко от своего Латинского квартала.

Когда он назвал фамилию студента, который провел его (Гурнери, родственник писателя, она наверное его знает...), выражение её лица вдруг изменилось и померкло. Он не обратил на это внимания, будучи в том возрасте, когда глаза блестят, ничего не видя. Ла Гурнери пообещал ему, что на вечере, будет его двоюродный брат, и что он познакомит его с ним. Я так люблю его стихи... Я был бы так счастлив с ним познакомиться...

Она улыбнулась, пожалев его за его наивность, красиво повела плечами, раздвигая рукою легкие листья бамбука, и взглянула в залу, словно ища его великого человека.

Праздник, в эту минуту, блистал и гудел как апофеоз феерии. Мастерская, или вернее огромный, центральный зал, так как в ней никто не работал, занимала всю вышину особняка; она сверкала светлой, легкой обивкой, тонкими соломенными или кисейными занавесками, лакированными ширмами, цветными стеклами и кустом желтых роз, украшавшим высокий камин в стиле Возрождения, отражая причудливый и разнообразный свет бесчисленных китайских, персидских, мавританских и японских фонариков, то ажурных с овальными, как двери мечети арками, то склеенных из цветной бумаги и похожих на плоды, то развернутых в виде веера, то причудливой формы цветов, ибисов, змей; время от времени внезапные потоки электрического света, быстрые и голубоватые, как молний, заставляли бледнеть все тысячи огней и заливали лунным сиянием лица и обнаженные плечи, фантазмагорию тканей, перьев, блесков и лент, сливавшихся в одно целое в бальной зале, поднимающихся по голландской лестнице, ведущей на галерею первого этажа, из-за широких перил которой виднелись ручки контрабасов и отчаянно мелькала дирижерская палочка.

Молодой человек видел все это со своего места, сквозь сетку зеленых ветвей и цветущих лиан, сливавшихся с этой картиной, обрамлявших ее, и в силу оптического обмана то бросавших гирлянды глициний на серебристый трон какой-нибудь принцессы, то украшавших листком драцены личико пастушки в стиле помпадур; теперь зрелище это приобретало в его глазах особенный интерес, оттого что египтянка называла ему фамилии, по большей части известные и знаменитые, скрывавшиеся под этими забавными и фантастическими масками.

Этот псарь с коротким бичем через плечо, – Ждэн; немного дальше – поношенная ряса деревенского священника скрывала старика Изабэ, придавшего себе росту, с помощью колоды карт, подложенной в башмаки с пряжками. Коро улыбался из под огромного козырька фуражки инвалида. Она указала ему также Томаса Кутюра, наряженного бульдогом, Жента, одетого тюремным смотрителем, Шама, наряженного экзотической птицей.

Несколько серьезных исторических костюмов, – Мюрат, в шляпе с пером, принц Евгений, Карл I, – в которые были наряжены самые юные художники, подчеркивали разницу между двумя поколениями артистов; самые молодые были серьезны, холодны, с лицами биржевых дельцов, старых от морщин, проводимых денежными заботами; другие же были более шаловливы, шумливы, разнузданы.

Невзирая на свои пятьдесят пять лет и на Академические пальмы, скульптор Каудаль, одетый гусаром, с обнаженными руками, с геркулесовскими мускулами, с палитрой живописца, болтавшейся вместо шашки у его длинных ног, откалывал «соло» эпохи *grande chaumiere*, перед композитором Де Поттер, наряженным подгулявшим муэдзином, в тюрбане, съехавшем на бок, и подражавшим пляске живота, выкрикивая тонким голосом: «Ла Аллах, иль Аллах».

Эти веселящиеся знаменитости были окружены широким кругом отдохавших танцоров; в первом ряду стоял Дешелетт, хозяин дома шурия маленькие глазки, под высокой персидской шапкой с калмыцким носом с седеющей бородкой, радуясь веселью других, и веселясь сам без памяти, хотя и не давая это заметить.

Инженер Дешелетт, видное лицо в художественном Париже десять-двенадцать лет тому назад, – добрый, очень богатый, проявлявший свободные артистические вкусы, и презрение к общественному мнению, которое дается путешествиями и холостой жизнью, участвовал в то время в постройке железнодорожной линии из Тавриза в Тегеран; ежегодно, в виде отдыха, после десяти месяцев утомления, после ночей, проведенных в палатке, лихорадочных переездов по пескам и болотам, – приезжал он проводить лето в этом доме на улице Рима, выстроенном по его рисункам, и меблированном, как летний дворец; здесь он собирал талантливых людей и красивых женщин, требуя, чтобы культура в несколько недель отдавала ему все, что в ней есть наиболее обаятельного и возбуждающего.

«Дешелетт приехал!» Эта новость облетала все мастерские художников, едва только, как театральные занавесы, поднималась огромная бумажная штора, закрывавшая стеклянный фасад дома. Это значило, что открывается целый ряд праздников, что в течение двух месяцев музыкальные вечера и пиры, балы и кутежи будут сменять друг друга, нарушая молчаливое оцепенение этого уголка Европы, в пору деревенского отдыха и морских купаний.

Лично Дешелетт не играл большой роли в той вакханалии, которая бушевала день и ночь у него в доме. Неутомимый кутила, он вносил в общее веселье какое-то холодное неистовство, неопределенный взор, улыбающийся, словно одурманенный гашишем, но невозмутимо ясный и спокойный. Преданный друг, раздававший деньги без счета, он относился к женщинам с презрением восточного человека, сотканным из вежливости и снисходительности; и из женщин, посещавших его дом, привлеченных его огромным состоянием и прихотливо-веселой средой, в которой он жил, ни одна не могла похвастаться тем, что была его любовницей более одного дня.

– Тем не менее он, добрый человек... – прибавила египтянка, дававшая эти разъяснения Госсэну. Вдруг, прерывая самое себя, она воскликнула: «Вот и ваш поэт!»

– Где?

– Прямо против вас... Одет деревенским женихом...

У молодого человека вырвался вздох разочарования. Его поэт! Этот толстый мужчина, потный, лоснящийся, старавшийся казаться изящным, в воротничке с острыми концами и в затканном цветами жилете Жано... Ему вспомнились безнадежные вопли, переполнявшие «Книгу Любви», которую он не мог читать без легкого лихорадочного трепета; и он невольно продекламировал вполголоса:

Pour animer le marbre orgueilleux de ton corps,
Ojsapho, j'ai donné' tout le sang de mes veines...

Она с живостью обернулась, звеня своим варварским головным убором, и спросила:

– Что вы читаете?

– Стихи Гурнери, – он был удивлен, что она не знает их.

– Я не люблю стихов... сказала она кратко; она стояла, нахмутив брови, глядя на танцующих, и нервно комкая прекрасные лиловые гроздья, висевшие перед ней. Затем, словно приняв какое-то решение, для неё не легкое, она произнесла: «До свиданья»... и исчезла.

Бедный итальянский дудочник был ошеломлен. «Что с нею?.. Что я ей сказал?». Он стал припоминать и ничего не вспомнил, кроме того, что хорошо бы пойти спать. Грустно взял он вольтанку и снова вошел в бальный зал, менее смущенный бегством египтянки, чем толпою, сквозь которую ему надо было пробираться к выходу.

Чувство своей безвестности среди этой толпы знаменитостей делало его еще более робким. Танцы прекратились; лишь кое-где немногие пары не желали пропустить последних тактов замиравшего вальса; и среди них Каудаль, испанский и великолепный, закинув голову,

кружился с маленькой вязальщицей в развевающемся головном уборе, которую он высоко приподнимал на своих рыжеволосых руках.

В огромное окно, в глубине зала, раскрытое настеж, вливались волны белого утреннего воздуха, колебали листья пальм и нагибали пламя свечей, словно стремясь погасить их. Загорелся бумажный фонарь, посыпались розетки; а слуги по всему залу устанавливали маленькие круглые столики, как на открытых террасах ресторанов. У Дешелетта всегда ужинали, так сидя вчетвером или впятером за столиком; люди, симпатизирующие друг другу, отыскивали один другого, объединялись в группы.

В воздухе не умолкали крики – неистовые возгласы предместья; «Pit... ouit» несшиеся в ответ на «уои-уои-уои» восточных девушек, разговоры вполголоса и сладострастный смех женщин, увлекаемых лаской.

Госсен воспользовался шумом, чтобы пробраться к выходу, как вдруг его остановил его приятель-студент; пот с него катился градом, глаза были вытарашены, а в каждой руке он держал по бутылке:

– Да где же вы?.. Я вас повсюду ищу... У меня есть стол, общество дам, маленькая Башелери из театра Буфф... Одетая японкой, вы должно быть заметили... Она приказала мне отыскать вас. Идем скорее!.. – и он удалился бегом.

Итальянского дудочника томила жажда; манили его также и опьянение бала, и личико молодой актрисы, делавшей ему издали знаки... Вдруг нежный и грустный голос прошептал у него над самым ухом: «Не ходи туда»...

Женщина, только что беседовавшая с ним, стояла рядом, почти прижавшись к нему, и увлекла его к двери; он пошел за нею, не колеблясь. Почему? То не было обаяние этой женщины; он едва разглядел ее, и та, которая звала его издали, со стальными кинжалами, воткнутыми в высокую прическу, нравилась ему гораздо больше. Но он подчинился чьей-то воле, бывшей сильнее его воли, стремительной силе чьего-то желания.

Не ходи туда!..

Вдруг оба очутились на тротуаре улицы Ром. Извозчики ожидали, среди бледного расцвета. Метельщики улиц, рабочие отправлявшиеся на работу, поглядывали на шумный, кишевший народом и весельем дом, на эту пару в маскарадных костюмах, – на весь этот карнавал в самый разгар лета.

– К вам, или ко мне?.. – спросила она.

Не зная почему, он решил, что к нему лучше, и сказал кучеру свой далекий адрес; во время длинной дороги они говорили мало. Она держала его руку в своих маленьких и, как ему казалось, ледяных ручках; если бы не холод этого нервного пожатия, он мог бы подумать, что она спит, откинувшись вглубь кареты, с легким отсветом голубой шторы на лице. Остановились на улице Жакоб, перед студенческим отелем. Подниматься приходилось на четвертый этаж... трудно. «Хотите, я вас понесу?»... спросил он, тихонько смеясь, помня, что весь дом спит. Она поглядела на него медленным, презрительным и вместе нежным взглядом, опытным взглядом, осуждавшим его, и ясно говорившим: «Бедный мальчик»...

Тогда, охваченный порывом, так шедшим к его возрасту и его южному темпераменту, он поднял ее на руки и понес, как ребенка; несмотря на девичью белизну своей кожи, он был крепок и хорошо сложен; он взбежал на первый этаж одним духом, счастливый этой тяжестью, висевшей на нем, охватившей его шею прекрасными, свежими, обнаженными руками.

Второй этаж казался выше, и юноша поднимался без удовольствия. Женщина забывалась и делалась тяжелее. Металлические подвески её головного убора, ласково щекотавшие его вначале, мало-помалу стали больно царапать его тело.

На третьем этаже он уже хрипел, как перевозчик фортепиано; у него захватывало дух, а она шептала, в восторге закрыв глаза: «Ах друг мой, как хорошо... как удобно»... Последние ступени, на которые он поднимался шаг за шагом, казались ему исполинской лестницей, стены,

перила и узкие окна которой вились вокруг бесконечной спиралью. Он нес не женщину, а что-то грузное, ужасное; оно душило его, и он ежеминутно испытывал искушение выпустить, гневно бросить ее, рискуя разбить ее насмерть.

Когда они достигли тесной площадки, она проговорила, открывая глаза: «Уже?»... Он же думал: «Наконец-то!» но не мог сказать этого и стоял бледный, скрестя руки на груди, готовый, казалось, разорваться от напряжения.

Вся их история – такое же восхождение по лестнице, в печальном полумраке утра....

Глава 2

Он не отпускал ее двое суток; затем она ушла, оставив впечатление нежной кожи и тонкого белья. Никаких сведений о себе она не дала, кроме своего адреса и слов: «Когда захотите, чтобы я пришла вновь, позовите... я буду всегда готова»...

На крошечной визитной карточке, изящной и благоуханной, было написано: Фанни Легран, 6, улица Аркад.

Он засунул карточку за раму зеркала, между приглашением на последний бал министерства иностранных дел и причудливо разрисованной программой вечера у Дешелетта, этих единственных его светских выездов за весь год; воспоминание о женщине, витавшее несколько дней вокруг камина вместе с этим нежным и легким запахом, испарилось одновременно с ним; и Госсэн, серьезный, трудолюбивый и, кроме всего прочего, не доверявший парижским увлечениям, не имел ни малейшего желания возобновлять эту короткую любовную связь.

Министерский экзамен предстоял в ноябре. Для подготовки к нему оставалось всего три месяца. Затем последует трех или четырехлетняя служба в канцеляриях консульства; затем он уедет куда-нибудь далеко. Мысль об отъезде не пугала его; семейные предания старинного авиньонского рода Госсэнов Д'Арманди требовали, чтобы старший сын делал то, что называется «карьерой», следуя примеру и получая поощрение и нравственную поддержку со стороны тех, кто были его предшественниками на этом поприще. Для этого провинциала Париж был не более как первым этапом весьма длинного путешествия, и это мешало ему завязывать какие-либо серьезные любовные или дружеские связи.

Неделю или две спустя после бала у Дешелетта, однажды вечером, когда Госсэн зажег лампу, выложил на стол книги и собирался сесть за работу, в дверь робко постучали; и когда он отпер, на пороге показалась женщина в светлом, нарядном туалете. Он узнал ее лишь тогда, когда она приподняла вуаль.

– Видите, это я... вернулась...

Поймав беспокойный и смущенный взгляд, брошенный им на начатую работу, она сказала: «О, я не оторву вас... я понимаю, что значит»... Сняла шляпу, взяла книжку «Вокруг света», уселась и больше не шевельнулась, поглощенная, по-видимому, чтением; но всякий раз, когда он поднимал глаза, он встречал её взгляд.

И в самом деле, нужно было много мужества, чтобы не заключить ее тотчас в объятия, так она была соблазнительна и очаровательна с маленьким личиком, с низким лбом, со вздернутым носиком, с чувственными, полными губами, и с пышным станом, затянутым в строгое парижское платье, менее страшное для него, чем её туника египтянки.

Уйдя на другой день рано утром, она приходила еще несколько раз на неделе, всегда с той же бледностью на лице, с теми же холодными, влажными руками, с тем же сдавленным от волнения голосом.

– О, я знаю, что надоедаю тебе, утомляю тебя, – говорила она. – Я должна бы быть более гордой... Поверишь ли?.. Каждое утро, уходя от тебя, я клянусь не приходить, а затем к вечеру это безумие охватывает меня снова.

Он смотрел на нее, удивленный, восхищенный этой любовной верностью, так расходившейся с его презрением к женщине. Женщины, которых он знал до сих пор, и которых встречал в ресторанах и на роликовых площадках, часто молодые и красивые, оставляли в нем всегда неприятный осадок глупого смеха, грубых кухарочных рук, вульгарных вкусов и разговоров, вынуждавших его открывать после них окно. В своей неопытности, он предполагал, что все женщины легкого поведения подобны им. Поэтому он был изумлен, найдя в Фанни чисто женскую мягкость, деликатность и значительное превосходство над теми мещанками, которых он

встречал в провинции у матери, благодаря некоторому налету искусства и знанию его, что делало её разговор интересным и разнообразным.

К тому же она была музыкантша, аккомпанировала себе на рояле и пела утомленным, правда, неровным, но опытным контральто романсы Шопена и Шумана, и беррийские, бургундские или пикардийские деревенские песни, которых она знала множество. Госсэн, обожавший музыку, этот род лени и свободы, которым особенно умеют наслаждаться его земляки, возбуждался этими звуками в часы работы, и восхитительно убаюкивал ими свой отдых. Музыка Фанни приводила его в восторг. Он удивлялся тому, что она не поет на сцене, и узнал, что она пела в Лирическом театре. «Но недолго... Мне надоело»...

В ней, действительно, не было ничего заученного, условного, что бывает во многих актрисах; ни тени тщеславия или лжи. Лишь некоторая тайна окутывала её образ жизни, тайна, которую она хранила даже в минуту страсти, и в которую любовник не старался проникнуть, не испытывая ни ревности, ни любопытства, предоставляя ей приходить в условленное время, не глядя даже на часы, не зная еще мучительного ожидания, этих громких ударов в самое сердце, звучащих желанием и нетерпением....

Время от времени – так как лето было жаркое – они отправлялись на поиски хороших уголков в окрестностях Парижа, карту которых она знала в совершенстве и в подробностях. Они вмешивались в шумную толпу отъезжающих на вокзалах, завтракали в каком-нибудь кабачке на опушке леса или над водою, избегая лишь чересчур людных мест. Однажды, когда он предложил ей поехать в Во-де-Сернэ, она ответила: – нет, нет... не хочу... там слишком много художников.

Он вспомнил, что именно неприязню к художникам были отмечены первые минуты их любви. Спросил ее о причине. Она сказала:

– Это люди, выбитые из колеи, или чересчур сложные натуры, говорящие всегда больше того, что есть... Они сделали мне много зла...

Он возражал:

– Искусство прекрасно... ведь только оно украшает и расширяет жизнь.

– Видишь ли, друг мой, если есть на свете прекрасное, так это – быть простым и непосредственным, как ты, иметь двадцать лет от роду и любить!

Двадцать лет! Ей также не дали бы больше двадцати лет – так она была оживлена, бодрa, всему радуясь, все одобряя....

Однажды они приехали в Сен-Клер, в долину Шеврёз, накануне праздника и не нашли свободной комнаты. Было поздно, приходилось версту идти лесом в темноте, чтобы добраться до ближайшей деревни. Тогда им предложили деревенскую кровать, оставшуюся свободной в сарае, где спали каменщики.

– Пойдем, – сказала она, смеясь. – Это напомнит мне времена моей бедности...

Она, следовательно, знала бедность?

Они пробрались ощупью, среди кроватей, на которых спали люди, в огромное помещение, выбеленное известью, где в глубине стенной ниши горел ночник; и всю ночь, прижавшись друг к другу, они старались заглушить поцелуи и смех, слыша как храпели и кряхтели от усталости их соседи, грубая, тяжелая обувь которых лежала рядом с шелковым платьем и изящными ботинками парижанки.

На рассвете в огромных воротах сарая открылось маленькое отверстие, белый свет скользнул по кроватям и по земляному полу, и чей-то хриплый голос крикнул: «Эй! вы, артель!» Затем в сарае, снова погрузившемся в темноту, началось мучительное, медленное движение, позевывание, потягивание, громкий кашель – жалкие звуки, сопровождающие пробуждение трудовых людей; тяжелые и молчаливые лимузинцы удалились один за другим, даже не подозревая, что спали рядом с красивой женщиной.

Вслед за ними встала и она, накинула ошупью платье, наскоро собрала волосы и сказала: «Останься здесь, я сейчас вернусь»... Через минуту она пришла, с огромным букетом полевых цветов, обрызганных росой. «Теперь заснем снова»... – проговорила она, рассыпая по кровати благоуханную свежесть этих даров утра, оживлявших вокруг них воздух. Никогда не казалась она ему такой красивой, как когда стояла в дверях этого сарая, смеясь в полусвете, с развевающимися по ветру кудрями, и с руками, полными полевых цветов.

В другой раз они завтракали над прудом в Виль-Д'Аврэ. Осеннее утро окутывало туманом спокойную воду и ржавые леса против них; одни, в маленьком садике ресторана, они ели рыбу и целовались. Вдруг из маленького домика, скрытого в ветвях платана, у подножья которого был накрыт их столик, кто-то громко и насмешливо крикнул:

– Послушайте-ка, вы, там! Когда же вы перестанете целоваться? – ... В круглом окошке домика показалась львиная голова, с рыжими усами, скульптора Каудалья.

– Мне хочется сойти вниз позавтракать с вами... Я скучаю, как филин на своем дереве...

Фанни не отвечала, явно смущенная встречей; Жан, наоборот, согласился тотчас, горя нетерпением увидеть знаменитого художника, и польщенный честью сидеть с ним за одним столом.

Весьма изысканный, в свободном костюме, в котором было обдуманно все, начиная с галстука из белого крепа, смягчавшего цвет его лица, испещренного морщинами и красными угрями, и кончая жакеткой, охватывавшей еще стройную фигуру и обрисовывавшей его мускулы, Каудаль показался ему старше, чем на балу у Дешелетта.

Но что его изумило и поставило даже в некоторое затруднение, это интимный тон между художником и его любовницей. Каудаль называл ее Фанни и обращался к ней на «ты».

– Знаешь, – говорил он, устанавливая свой прибор на их столике, – уже две недели как я вдов. Мария ушла к Моратеру. Это не особенно волновало меня в первое время... Но сегодня утром, войдя в мастерскую, я почувствовал себя невыразимо плохо... Не было возможности работать... Тогда я бросил группу и поехал за город завтракать. Скверно, когда человек один... Еще минута, и я расплакался бы над своим рагу из кроликов...

Взглянув на провансальца, с едва пробивавшейся бородкой и кудрями, отливавшими цветом сотерна, он сказал:

– Хорошо быть молодым!.. Этому нечего бояться, что его бросят... А всего изумительнее то, что это заразительно... Ведь, у неё такой же юный вид, как у него!..

– Лгун!.. – сказала она, смеясь; и смех её звучал чисто женским обаянием, не имеющим возраста, желанием любить и быть любимой.

– Она изумительна... изумительна!.. – бормотал Каудаль, глядя на нее и продолжая есть, со складкой печали и зависти, змеившейся в углах его рта. – Скажи, Фанни, помнишь ли как мы однажды завтракали здесь... давно это было, чёрт возьми!.. Были Эзано, Дежуа, вся компания... ты упала в пруд. Тебя одели в платье сторожа. Это к тебе чертовски шло...

– Не помню... – сказала она холодно, и при этом вовсе не солгала; эти изменчивые создания живут лишь настоящей минутой, настоящей любовью. Никаких воспоминаний о том, что было раньше, никакого страха перед тем, что может наступить.

Каудаль, напротив, весь в прошлом, выпивая стакан за стаканом, рассказывал о подвигах своей веселой молодости, о любовных похождениях, о попойках, пикниках, балах в опере, кутежах в мастерской, о борьбе и победах. Но обернувшись, со взглядом, горевшим тем пламенем, что он разворошил, – он вдруг заметил, что Жан и Фанни его не слушали, занятые обрыванием виноградин с веток, из губ друг у друга.

– Какой вздор я говорю! – сказал он. – Я разумеется надоел вам... Ах чёрт побери!.. Глупо быть старым!

Он встал и бросил салфетку. – Получите за завтрак, дядя Ланглуа... – крикнул он в сторону ресторана.

Он грустно удалился, волоча ноги, словно подтачиваемый неизлечимой болезнью. Любовники долго провожали глазами его высокую фигуру, горбившуюся в тени золотистых листьев.

– Бедняга Каудаль!.. Это правда, что он стареет... – прошептала Фанни, с нежным состраданием. Когда Госсэн начал негодовать на то, что Мария, натурщица и девушка легкого поведения, могла забавляться страданиями Каудалья и предпочла великому артисту... Кого же? Моратера, маленького бездарного художника, имеющего за себя только молодость, она захохотала: – Ах, ты наивный... наивный... – закинула его голову и, обхватив ее обеими руками у себя на коленях, впиалась в его глаза, в его волосы, словно вдыхая аромат букета.

Вечером в этот день, Жан в первый раз поехал к любовнице, просившей его об этом, уже три месяца:

– В конце концов, почему же ты не хочешь?

– Не знаю... меня это стесняет.

– Ведь я же говорю тебе, что я свободна, живу одна...

И она увлекла его, усталого от загородной прогулки, на улицу Аркад, недалеко от вокзала. В антресолях буржуазного дома, честного и зажиточного с виду, им отворила старая служанка с угрюмым лицом, в деревенском чепце.

– Это – Машом... Здравствуй, Машом!.. – воскликнула Фанни, бросаясь ей на шею. – Видишь, вот мой возлюбленный, мой король... я привезла его... Живо, зажигай огни, сделай, чтобы все в доме было нарядно...

Жан остался один в крошечной гостиной, с полукруглыми, низкими окнами, задрапированными банальным голубым шелком, которым были обиты и диваны и лакированная мебель. Три-четыре пейзажа на стенах украшали и веселили комнату; под каждым была подпись: «Фанни Легран», или «моей дорогой Фанни»...

На камине стояла мраморная статуя в половину человеческого роста – известная статуя Каудалья «Сафо», бронзовые копии с которой можно было видеть повсюду, и которую Госсэн видел с детства в рабочей комнате отца. При свете одинокой свечи, стоявшей рядом с цоколем, Жан заметил легкое, как бы несколько молодившее Фанни, сходство этого произведения искусства со своей любовницей. Линия профиля, движение стана под драпировкой одежды, округлость рук, которыми она охватила колени, – были ему знакомы, близки; глаза его останавливались на них, вспоминая знакомые нежные ощущения.

Фанни, застав его перед статуей, сказала развязно: – В ней есть сходство со мною, не правда ли? Натурщица Каудалья была похожа на меня – ... И вслед за этим она увлекла его в спальню, где Машом, хмурясь, накрывала на два прибора на круглом столике. Все огни были зажжены, вплоть до подсвечников у зеркального шкафа, яркий веселый огонь горел в камине, и вся комната напоминала комнату женщины, одевающейся к балу.

– Мне хотелось поужинать здесь, – сказала она смеясь. – Мы скорее будем в постели...

Никогда в жизни Жан не видел такой кокетливой мебелировки. Шелковые ткани в стиле Людовика XVI и светлые кисейные занавески, виденные им у матери и у сестер, не давали ни малейшего представления об этом гнездышке, обитом, выстеганном шелком, где деревянная отделка стен скрывалась под нежными тканями, где кровать была заменена диваном, лишь более широким чем остальные, стоявшим в глубине комнаты на белых меховых коврах.

Очаровательна была эта ласка света, огня, длинных голубых отражений в гранях зеркал, после прогулки по полям, после дождя, под который они попали, после грязных выбитых дорог, над которыми уже спускался вечер. Но, как истому провинциалу, ему мешало наслаждаться этим случайным комфортом недружелюбие служанки и подозрительные взгляды, которые она бросала на него, до тех пор, пока наконец Фанни не отослала ее одною фразой: – уйди, Машом... мы сами все сделаем. – Когда крестьянка ушла, хлопнув дверью, Фанни сказала: – Не обращай внимания, она злится на то, что я тебя люблю... Она говорит, что этим

я гублю себя... Эти деревенские так алчны... Стряпня её куда лучше её самой... Попробуй этот паштет из зайца.

Она разрежала паштет, откупоривала шампанское, забывая есть сама и глядя все время на него, откидывая до плеч, при каждом движении, рукава алжирского халата из мягкой, белой, шерстяной материи, который постоянно носила дома. В этом виде она напомнила ему их первую встречу у Дешелетта; прижавшись друг к другу, сидя на одном кресле, и кушая с одной тарелки, они вспоминали этот вечер:

– Едва я увидела тебя, – говорила она, – я тотчас почувствовала, что ты должен быть моим... Мне хотелось взять тебя, увезти, чтобы ты не достался другим... А, что думал ты, увидев меня?...

Сначала она внушала ему страх; потом он почувствовал к ней доверие и полную близость. – А, кстати, я тебя с тех пор ни разу не спросил, – сказал он. – За что ты тогда рассердилась?... За два стиха Ля Гурнери?

Она нахмурила брови, как на том балу, затем покачала головой: – Пустяки... не стоит говорить об этом... – и охватив руками его шею, продолжала: – Я ведь тоже боялась... пробовала убежать, успокоиться... но не могла, никогда не смогу...

– Уж и никогда!

– Увидишь!

Он ответил недоверчивой улыбкой, свойственной молодости, не обращая внимания на страстный, почти грозный оттенок, которым она бросила ему это «увидишь». Объятия этой женщины были так нежны, так покорны; он был твердо уверен, что ему стоит только сделать движение, и он высвободится...

Да и к чему освобождаться?... Ему так хорошо в убаюкивающем сладострастии этой комнаты, голова так сладко кружится от ласкового дыхания над его отяжелевшими, почти смыкающимися веками, а перед глазами проходят, еще одетые ржавчиной, леса, луга, журчанье воды, – весь день, отданный любви и природе...

Утром он был разбужен голосом Машом, кричавшей над кроватью, во все горло:

– Он там... Хочет вас видеть...

– Как это «хочет»?.. Разве я не дома... Ты значит, впустила его?..

В ярости она вскочила, выбежала из комнаты, полуодетая, в распахнутом пеньюаре: – Не вставай друг мой, я сейчас приду... – Но он не стал дожидаться, и успокоился лишь тогда, когда в свою очередь встал, обулся и оделся.

Подбирая платье в наглухо запертой комнате, где ночник освещал еще беспорядок вчерашнего ужина, он слышал в соседней комнате звуки крупного разговора, заглушенного драпировками гостиной. Мужской голос, вначале серьезный, потом умоляющий, раскаты которого прерывались рыданиями и слезливым шёпотом, чередовался с другим, который он узнал не сразу, жестким и хриплым, полным ненависти и бранных слов, доносившихся к нему, как ругань женщины из пивной.

Вся эта роскошь была запятнана этою бранью, шелковые ткани были забрызганы грязью; и женщина также была загрязнена и сведена на уровень тех женщин, которых он привык презирать.

Она вошла задыхаясь, и красивым движением руки подбирая рассыпавшиеся волосы: – Какое идиотство, когда мужчина плачет!.. – Затем, увидев его одетого, на ногах, она крикнула с бешенством: – ты встал?... ложись сейчас... я хочу... – Но вдруг растроганная, обнимая его, сказала вкрадчиво: – нет, нет, не уходи... Ты не можешь уйти так?... Во-первых, я уверена, что ты не вернешься...

– Нет... отчего же?...

– Поклянись, что ты не сердишься, что ты придешь снова... О, как я тебя знаю.

Он дал клятву, которую она требовала, но не лег, несмотря на её мольбы и на повторные уверения, что она дома, что она вправе свободно располагать своей жизнью, своими поступками. Наконец, она по-видимому покорилась, отпустила его, проводила до двери, не напоминая уже собою исступленной вакханки, а, наоборот, стояла смиренно, моля прощения.

Долгие и нежные прощальные ласки задержали их в прихожей.

– Когда же?... когда?.. – спрашивала она, глядя ему в глаза. Он собирался ответить, хотел вероятно, солгать, торопясь уйти, как вдруг его остановил звонок. Машом вышла из кухни, но Фанни сделала ей знак: – Нет... не отпирай! – все трое стояли, не двигаясь и не произнося ни звука.

Послышался заглушенный, жалобный стон, затем шелест письма, просунутого под дверь, и медленно удалявшиеся шаги. – Я говорила тебе что я свободна... Смотри... – Она подала любовнику распечатанное письмо, жалкое любовное письмо, низкое, малодушное, торопливо нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо в котором несчастный просил прощения за свою утреннюю безумную выходку, подтверждал, что не имел на нее никаких прав, кроме тех, которые она захочет ему предоставить, молил, со сложенными руками, чтобы она его не прогоняла навсегда, обещая принять все, подчиниться всему... Только бы не потерять ее... Боже, только бы не потерять!..

– Видишь – ... сказала она, со злобным смехом; этот смех окончательно сковал его душу, которую ей так хотелось покорить. Жан подумал, что она жестока. Он не знал еще, что женщина, когда любит, добра только для предмета своей любви, что всю свою доброту и сострадание она целиком отдает одному ему.

– Ты напрасно смеешься... Это письмо прекрасно и трагично. – И, понизив голос, держа ее за руки, спросил серьезно:

– Скажи... зачем ты его гонишь?..

– Я не могу его видеть... я не люблю его.

– Меж тем он – твой любовник. Он доставил тебе эту роскошь, в которой ты живешь, в которой ты всегда жила, которая для тебя необходима!

– Друг мой, – сказала она, с оттенком чистосердечия, – когда я тебя не знала, я находила все это весьма приятным... Теперь же для меня это – мука, позор: меня тошнит от этого... О, я знаю, ты скажешь, что я не должна думать о тебе серьезно, что ты меня не любишь... Но это уж мое дело... Хочешь или не хочешь, но я тебя заставлю любить меня.

Он не ответил, условился относительно свидания на следующий день и ушел, оставив Машом несколько золотых – почти все свое студенческое состояние – в виде платы за её паштет. Для него здесь все было кончено. Какое имеет он право смущать жизнь этой женщины, и что может он предложить ей взамен того, чего она лишается?

Он написал ей в тот же день, со всей возможною нежностью и сердечностью, но не говоря, что в их связи, в легком и милом капризе, он почувствовал вдруг что-то нездоровое, недоброе, когда после любовной ночи услышал рыдания обманутого любовника, перемежавшиеся со смехом и бранью Фанни, достойными прачки.

В этом юноше, выросшем вдали от Парижа среди полей Прованса, отцовская резкость соединялась с сердечностью и нервностью матери, которую он напоминал как портрет. В виде предостережения его от увлечений и опасностей любви, перед ним вечно стоял еще пример одного из братьев отца, беспорядочная жизнь и безумства которого почти разорили их семью и запятнали их имя.

Дядя Сезар! Этих слов и той семейной драмы, которую они напоминали, было достаточно чтобы потребовать от Жана еще более тяжких жертв, чем отказ от этой связи, которой он никогда и не придавал особенного значения. Меж тем порвать ее оказалось труднее, чем он думал.

Невзирая на то, что он форменно расстался с Фанни, она приходила вновь, не смущаясь ни его отказами, ни запертой дверью, ни неумолимыми запретами. «У меня нет самолюбия»... писала она ему. Она ожидала часа когда он обедал в ресторане, простаивала перед кафе, где он читал газеты. Ни слез, ни сцен. Если он был не один, она довольствовалась тем, что шла за ним, выжидая минуты, когда он останется один.

– Хочешь, чтобы я пришла сегодня вечером?.. Нет?.. Тогда до свиданья, до другого раза... – И она уходила, с покорной кротостью уличного торговца, укладывающего свои товары за отсутствием покупателей, заставляя его страдать от своей суровости и от унижительной лжи, которую он бормотал при каждой встрече. «Экзамен близко... Времени не хватает... Попозже, если она не раздумает»... На самом же деле он рассчитывал тотчас после экзамена на месяц уехать на юг, а она за это время забудет его...

К несчастью, сдав экзамен, Жан заболел. В министерстве, в одном из коридоров, он схватил ангину; в самом начале он запустил ее, и она превратилась в злокачественную. Он никого не знал в Париже, кроме нескольких студентов-земляков, которых его требовательная связь отдалила от него и рассеяла. Сверх того, здесь требовалось нечто большее, чем простая преданность, и с первого вечера у его постели очутилась Фанни Легран; она не отлучалась целых десять дней, ухаживая за ним без усталости, без страха и отвращения, ловкая, как сестра милосердия, нежная, шутивная и ласковая. Во время сильного жара он переносился мыслью к тяжелой болезни которую он перенес в детстве, звал тетку Дивонну, говорил «спасибо, Дивонна», чувствуя руки Фанни на своем влажном лбу.

– Это не Дивонна... это я... Я за тобой ухаживаю...

Она избавляла его от ухода наемной сиделки, от копоти ламп, от настоек, приготовленных руками консьержки; и Жан не мог надивиться, сколько быстроты, изобретательности и исполнительности было в этих ручках, привыкших к лени и наслаждениям. По ночам она спала часа два на диване, – типичном студенческом диване жестком, как скамья полицейского участка.

– Но, дорогая Фанни, ты совсем не ходишь домой?.. – сказал он ей однажды. – Теперь мне лучше... Следовало бы успокоить Машом...

Она расхохоталась. Где находится теперь Машом, да и весь дом вместе с нею! Все было продано – мебель, одежда, даже кровать. Осталось только платье, которое было на ней, да немного дорогого белья, спасенного прислугой... Теперь, если он ее прогонит, она очутится на улице...

Глава 3

– На этот раз, кажется, я нашла... Улица Амстердам, против вокзала... Три комнаты и большой балкон... Если хочешь, пойдем посмотреть, когда ты придешь со службы... Высоко... на пятом этаже!.. Но ты меня будешь носить! Это было так приятно, помнишь?..

И смеясь, под влиянием забавного воспоминания, она прижималась к нему, обвивала рукою его шею, искала прежнего места, – своего места.

Жизнь вдвоем в меблированных комнатах, с беспокойными их нравами, с хождением по лестнице полуодетых женщин, в сетках и в мягких туфлях, с картонными перегородками, за которыми слышалась возня других пар, общность ключей, свечей, ботинок, – становилась для них невыносимой. Не для нее, конечно; с Жаном она нашла бы уютным жить всюду – под крышей, в подвале, даже в сточной трубе. Но его щепетильность любовника оскорблялась некоторыми обстоятельствами, которых раньше, будучи одиноким, он не замечал. Эти однодневные сожительствa стесняли его, опорачивали его связь, внушали грусть и отвращение, как те обезьяны, в клетках Jardin des Plantes, которые подражают всем движениям и выражениям человеческой любви. Рестораны тоже наскучили, надоедало отпрапляться два раза в день на бульвар Сен-Мишель, в громадную залу, переполненную студентами, воспитанниками школы изящных искусств, художниками, архитекторами, которые, совершенно не зная его, тем не менее привыкли к его лицу за тот год, что он там обедал.

Открывая дверь, он краснел при виде взглядов, устремленных на Фанни, и входил с вызывающим и смущенным видом юноши, впервые сопровождающего женщину; он боялся встретить кого-нибудь из земляков. Затем был вопрос денежный.

– Как дорого! – повторяла она каждый раз, унося домой и проверяя скромный счет за обед. Если бы мы жили своей квартирой, я могла бы на эту сумму вести хозяйство три дня.

– Хорошо, что же нам мешает?.. – и они стали искать квартиру.

Это обычная западня. Все попадают в нее, лучшие, честные, влекомые стремлением к чистоте, любовью к «домашнему очагу», внушенной воспитанием в семье и теплом родного дома.

Квартира на улице Амстердам была снята, и ее нашли очаровательной, несмотря на то, что все комнаты были проходные, кухня и столовая выходили на черный, заплесневелый двор, откуда из английской таверны неслись запахи помоев и хлора, а спальня – на улицу, покатую и шумную, сотрясаемую день и ночь телегами, ломовыми, омнибусами, с ежеминутными свистками, извозчиками, словом, всем грохотом Западного вокзала, фасад которого, с его грязноватой стеклянной крышей, рисовался у них перед окнами. Преимущество заключалось лишь в том, что поезда останавливались словно у их подъезда, а Сен-Клу, Виль-д'Аврэ, Сен-Жермэн, зеленые местечки на берегах Сены – были почти у их террасы.

У них была терраса, широкая и удобная, сохранившая от щедрот прежних жильцов цинковую крышу, выкрашенную под полосатый тик, мокрую и печальную в зимние дожди, но под которой было хорошо обедать летом на воздухе, словно в шале, в горах.

Занялись покупкой мебели. Жан, сообщив родным о своем намерении устроиться на квартире, получил от тетки Дивонны, как заведующей домом, необходимую сумму денег; а в письме тетка писала о скорой присылке парижанину шкафа, комода и большого камышового кресла, хранившихся в «угловой комнате» специально для парижанина.

Эта комната, которую он словно видел в глубине коридора в Кастеле, вечно пустая, со ставнями, задвинутыми железным засовом, с дверью, запертой на задвижку, своим расположением была осуждена на порывы ветра, от которых все в ней трещало, словно на маяке. В ней нагромождали старье, все, что каждое поколение, делая новые покупки, завещало прошлому.

Ах, если бы Дивонна знала, для каких своеобразных отдохновений послужит камышовое кресло, сколько шелковых юбок и кружевных панталон наполнят ящики комода в стиле empire!.. Но угрызения совести Госсэна тонули в тысяче маленьких радостей по поводу устройства гнезда.

Так приятно было после службы, в сумерки, отправляться под руку, прижавшись друг к другу, в далекие концы города, посещать какую-нибудь улицу предместья, выбирать столовую-буфет, стол и полдюжины стульев, – или цветные кретоновые занавески для окон и для постели! Он на все соглашался, с закрытыми глазами; но Фанни смотрела за обоим, пробовала стулья, опускала крышки столов, обнаруживала умение торговаться.

Она знала магазины, где по фабричной цене продавались полные комплекты кухонной посуды для маленьких хозяйств: четыре железные кастрюли, пятая эмалированная для утреннего кофе, но отнюдь не медные, их слишком долго чистить; шесть металлических приборов с разливной ложкой и две дюжины тарелок из английского фаянса, прочных и красивых – все было сосчитано, приготовлено, уложено, словно обеденный сервиз для кукол. Что касается простынь, салфеток, белья столового и носильного, то она знала торговца, представителя большой фабрики в Рубэ, которому можно было выплачивать в рассрочку; она постоянно выжидала, высматривала в витринах и на выставках, разыскивала распродажи – эти остатки кораблекрушений, которые Париж постоянно несет вместе с пеной у своих берегов, и нашла на бульваре Клиши великолепную кровать, продававшуюся по случаю, почти новую, и такой ширины, что на ней можно было уложить подряд семь девиц людоеда.

Возвращаясь домой со службы, он также пробовал делать приобретения; но ничего не понимал в товаре, не умел отказаться или уйти с пустыми руками. Зайдя однажды к старьевщику, чтобы купить старинную лампу, на которую указала ему Фанни, он принес, вместо проданного уже предмета, зальную люстру с подвесками, совершенно ненужную, так как у них не было гостиной.

– Мы повесим ее на веранде... – сказала Фанни, чтобы его утешить.

А какое счастье вымеривать, обсуждать место каждого предмета; а крики, а безумный хохот, а вздетые руки, когда замечали, что, несмотря на всю заботливость, несмотря на подробный список необходимых покупок, что-нибудь всегда оказывалось забытым!

Так, например, было с теркой для сахара. Неужели возможно завести хозяйство без терки!..

Затем, когда все было куплено и расставлено, занавески повешены, новая лампа зажжена, что за чудный вечер провели они, осматривая все три комнаты прежде чем лечь спать, и как смеялась она, светя ему, когда он запирали на замок дверь: – еще раз, еще... запирай покрепче... Мы у себя дома...

Началась новая и восхитительная жизнь. Окончив работу, он возвращался домой быстро, торопясь прийти и, надев туфли, сесть к камину. Идя по черной уличной грязи, он представлял себе свою комнату, освещенную и теплую, уютную от этой старой провинциальной мебели, которую Фанни заранее называла рухлядью, и которая, состояла из очень красивых старинных вещей; особенно хорош был шкаф, драгоценность в стиле Людовика XVI, с расписными дверьми, изображавшими провансальские празднества, пастушков в цветных кафтанах, танцы под свирель и под тамбурин. Присутствие в квартире этих старомодных вещей, привычных ему с детства, напоминало отцовский дом, освящало его новое жилище, удобством которого он вполне наслаждался.

Заслышав его звонок, Фанни выходила, тщательно одетая, кокетливая, «на палубу», как она говорила про себя сама. Черное шерстяное платье, простое, но сшитое по выкройке хорошего портного, обличавшее скромность женщины, которой надоело рядиться, засученные рукава, широкий белый фартук. Она стряпала сама и довольствовалась помощью наемной служанки, приходившей для черных работ, от которых трескаются и портятся руки.

Она знала кухню хорошо, знала множество рецептов северных и южных кушаний, разнообразных, как её репертуар народных песен, которые после обеда, сняв фартук и повесив его за дверь запертой кухни, она пела низким, несколько утомленным, но по-прежнему страстным голосом.

Внизу шумела, катилась рекой, улица. Холодный дождь стучал по цинковой крыше балкона, Госсэм, грея перед огнем ноги, развалился в кресле, смотрел в окна вокзала напротив на чиновников, гнувших спины над бумагами, под белым светом ламп, с огромными рефлекторами.

Ему было хорошо, и он позволял убаюкивать себя. Был ли он влюблен? Нет; но он был благодарен за любовь, которою его окружали, за всегда ровную нежность. Как мог он так долго лишать себя этого счастья из-за боязни – над которой он теперь смеялся – быть одураченным, попасть в западню? Разве жизнь его была чище, когда он переходил от одной женщины к другой, ежеминутно рискуя своим здоровьем?

Никакой опасности и в будущем. Через три года, когда он уедет, разрыв произойдет сам собою, без потрясений. Фанни все объяснено заранее; они говорили об этом, как о смерти, как об отдаленной, роковой, но неизбежной вещи. Остается лишь горе его домашних, когда они узнают, что он живет не один, гнев отца, сурового и быстрого на решения...

Но как они узнают? Жан ни с кем не видится в Париже. Его отец, «консул», как его звали, был весь год занят надзором за имением, которое он улучшал, и упорным уходом за виноградными лозами. Мать, больная, не могла без посторонней помощи сделать ни шага, ни движения, предоставляя Дивонне ведение хозяйства, уход за его близнецами-сестричками, Мартой и Марией, внезапное рождение которых навсегда отняло у неё силы. Что касается дяди Сезара, мужа Дивонны, то это был взрослый ребенок, которого никуда не пускали одного.

Фанни знала теперь всю его семью. Когда Жан получал письма из Кастеле, с припиской внизу крупными буквами, сделанною маленькими пальчиками сестер, Фанни читала письмо через его плечо и умилялась вместе с ним. О её прежней жизни он ничего не знал и не спрашивал. Он обладал прекрасным и бессознательным эгоизмом юности, без всякой ревности, без всякого беспокойства. Полный собственной жизни, он расплескивал ее через край, мечтал вслух, говорил о себе, меж тем как она оставалась безмолвною.

Так протекали дни и недели, в счастливом спокойствии, которое однажды было нарушено одним обстоятельством, сильно взволновавшим их, хотя и на разный манер. Ей показалось, что она беременна, и она заявила ему об этом с радостью, которую он мог только разделить... В сущности, он испугался. Ребенок в его годы!.. Что он будет с ним делать?.. Должен ли он признать его своим?.. И какое обязательство между ним и этою женщиной! Какие осложнения в будущем!

Внезапно ему представилась цепь, тяжелая, холодная, замкнутая. Ночью он не спал, так же, как и она; лежа рядом на широкой постели, оба бодрствовали, с открытыми глазами, мысленно витая за тысячу верст один от другого.

По счастью, эта ложная тревога рассеялась, и они вновь принялись за свою мирную, изящно-замкнутую жизнь. Затем, когда зима кончилась и вернулось настоящее солнце, жилище их стало еще красивее и просторнее, благодаря балкону под навесом. Вечером они обедали на балконе, под сводом зеленоватого неба, по которому зигзагами пронеслись ласточки.

С улицы к ним доносились горячий воздух и шум соседних домов; но зато малейшее дуновение ветерка всецело принадлежало им, и они целыми часами забывались, прижавшись друг к другу, ничего не видя. Жан припоминал такие же ночи на берегу Роны, мечтал об отдаленных консульствах в жарких странах, о палубах отплывающих кораблей, где ветер будет дуть с такой же непрерывностью, как тот, от которого дрожала занавеска балкона. И когда она, с невидимой лаской, шептала у его губ: «Любишь ли ты меня?..», он должен был очнуться и

видимо вернуться издалека, чтобы ответить: «О, да, я люблю тебя»... Вот что значит любить молодого; у них голова занята слишком многим!..

На том же балконе, отделенная от них железной решеткой, обвитой вьющимися растениями, ворковала другая парочка, господин и госпожа Эттэма, законные супруги, очень толстые, поцелуи которых раздавались громко, словно пощечины. Они были удивительно похожи друг на друга годами, вкусами, тяжеловесными фигурами, и трогательно было слышать, как эти влюбленные, на закате юности, опираясь на балюстраду, тихо распевали дуэтом старинные сентиментальные романсы:

«Но слышу вздох его в тиши ночной...
О, чудный сон! Пусть длится вечно он...»

Супруги нравились Фанни. Она хотела бы с ними познакомиться. Иногда соседка обменивалась с ней, через потемневшее железо перил, улыбкой счастливых и влюбленных женщин; но мужчины, как всегда, были более сдержаны друг с другом, и не разговаривали.

Однажды Жан шел после полудня, направляясь от набережной д'Орсэ, как вдруг услышал, что кто-то окликнул его по имени, на углу улицы Рояль. День был чудесный, было ясно и тепло, и Париж расцветал на этом повороте бульвара, который, в минуту заката, во время катанья в Булонском лесу, не имеет себе равного во всем мире.

– Сядьте здесь, прекрасный юноша, выпейте чего-нибудь... Поглядеть на вас и то праздник!

Его охватили две огромные руки и усадили под навесом кафе, захватившего тротуар тремя рядами столиков. Он не противился, польщенный тем, что вокруг него толпа провинциалов, в полосатых пиджаках и круглых шляпах, с любопытством шептала имя Каудаль.

Скульптор, сидел перед стаканом абсента так шедшим к его военному росту и офицерскому значку, бок-о-бок с инженером Дешелеттом, приехавшим накануне, желтым и загорелым по-прежнему, с выдающимися скулами, и маленькими добрыми глазками, с жадными ноздрями, вдыхавшими аромат Парижа. Едва молодой человек сел, Каудаль, указывая на него с комическим ужасом, сказал:

– До чего он красив, животное!.. Только подумаешь, что я был так же молод, что у меня были такие же кудри!.. Ах, молодость, молодость!..

– Все по-прежнему? – сказал Дешелетт, улыбаясь выходке друга.

– Милый мой, не смейтесь... Все, что я имею, все, что я из себя представляю – медали, кресты, Академию, Институт – все отдал бы я за эти волосы, за этот загорелый цвет лица... – Затем, обратившись с обычной резкостью к Госсэну, спросил:

– А где же Сафо, что вы с нею сделали?.. Отчего её не видно?

Жак взглянул на него широко раскрытыми глазами, не понимая.

– Разве вы уже разошлись с нею? – и, глядя на остолбеневшего Жана, нетерпеливо прибавил: – ну, Сафо... Фанни Легран... помните, Виль-д'Аврэ...

– О, все это давно кончено...

Как выговорил он эту ложь? Вследствие какого-то стыда, какой-то неловкости при этом имени, данном его любовнице; быть может, стесняясь говорить о ней с другими мужчинами, а, быть может, из желания узнать о ней вещи, которые ему без этого не рассказали бы.

– А-а... Сафо?.. Разве она еще живет? – рассеянно, спросил Дешелетт совершенно опьяненный счастьем видеть вновь ступени Мадлены, цветочный рынок, длинный ряд бульваров между двумя рядами зеленых букетов.

– Как! вы не помните ее у себя в прошлом году?.. Она была великолепна в одежде египтянки... А нынешней осенью, утром, я застал ее за завтраком с этим красивым юношей у Ланглуа; вы сказали бы, что это новобрачные, всего две недели как повенчавшиеся.

– Сколько ей может быть лет? С тех пор, как мы ее знаем...

Каудаль поднял голову, припоминая: – Сколько лет?.. Сколько?.. В пятьдесят третьем году, когда она позировала мне для моей статуи, ей было семнадцать; теперь семьдесят третий год. Вот и считайте! – вдруг глаза его заблестали: – Ах! если бы вы видели ее двадцать лет тому назад!.. Длинная тонкая шея, резко очерченные губы, высокий лоб... руки, плечи, несколько худые, но это так шло к знойному темпераменту Сафо!.. А какая женщина, какая любовница!.. Чего только не было в этом теле, созданном для наслаждения, какого только огня нельзя было высечь из этого кремня, из этого дивного инструмента, в котором не было ни одного недостатка!.. «Полная лира»!.. как говорил о ней Гурнери.

Жан, побледнев, спросил:

– Разве и он также был её любовником?..

– Гурнери?.. Я думаю! И это причинило мне много страданий... Четыре года жили мы вместе, как муж и жена, четыре года я берег ее, делал все, чтобы удовлетворить все её капризы... Уроки пения, уроки фортепиано, уроки верховой езды, чего-чего только не было! А когда я ее отполировал, отшлифовал, как драгоценный камень, поднятый мною в луже однажды ночью, по выходе с бала Рагаш, этот франт, этот рифмоплет отнял ее у меня, увел из-за того самого дружеского стола, за которым он приходил обедать по воскресеньям.

Он глубоко вздохнул, чтобы прогнать старую любовную досаду, дрожавшую в его голосе, потом сказал более спокойно:

– Впрочем, его вероломство не принесло ему пользы... Три года, прожитые ими вместе, были настоящим адом. Этот поэт, с вкрадчивым голосом и манерами, был капризен, зол, какой-то маньяк! Надо было видеть, что между ними происходило!.. Бывало придешь к ним, у неё завязан глаз, у него лицо исцарапано ногтями... Но самое лучшее – когда он собрался ее покинуть! Она липла к нему, как смола, следила за ним, врвалась в его квартиру, ожидала его, лежа на коврик у его дверей. Однажды ночью, в разгар зимы, она простояла пять часов кряду внизу, у Ла-Фарси, куда они поднялись целой толпой... Жаль было смотреть на нее!.. Но элегический поэт был невозмутим до той минуты, когда, чтобы избавиться от нее, он призвал полицию. Нечего сказать, благородный человек!.. И в заключение, в виде благодарности этой красавице, отдавшей ему свою молодость, свой ум, свое тело, он вылил ей на голову целый том стихов, полных ненависти, грязи, проклятий, жалоб, «Книгу Любви», – его лучшую книгу!..

Сидя неподвижно, словно застыв, Госсэн слушал, потягивая сквозь длинную соломинку, крошечными глотками, поданное ему мороженое питье. Ему казалось, что в стакан подлили яду, леденившего ему кровь в жилах.

Он дрожал, несмотря на чудную погоду, и, как сквозь сон, смутно видел скользившие взад и вперед тени, бочку для поливки улиц остановившуюся перед Мадлен, и мелькание карет, неслышно катившихся по мягкой земле словно по вате. Ни уличного шума, ничего не существовало для него, кроме того, что говорилось за этим столом. Теперь говорил Дешелетт – это он вливал теперь яд...

– Что за ужасная вещь эти разрывы... – Его спокойный, насмешливый голос делался нежным, бесконечно участливым. – Люди прожили вместе годы, спали, прижавшись друг к другу, вместе мечтали, вместе работали! Все высказали, все отдали друг другу. Усвоили себе привычки, манеру держаться, говорить, даже черты любимого человека. Двое слились в одно... Одним словом то, что мы привыкли называть «collage»!.. Затем внезапно бросают друг друга, расходятся... Как это случается? Откуда является это мужество? Я никогда не мог бы... Да будь я обманут, оскорблен, запачкан грязью и осмеян, все таки если бы женщина заплакала и сказала мне: «останься», – я не ушел бы... Вот почему, когда я схожусь с женщиной, то всегда лишь на одну ночь... Пусть не будет завтрашнего дня... или тогда уже женитьба! Это по крайней мере, окончательно и благородно.

– Пусть не будет завтрашнего дня!.. Вам хорошо говорить! Есть, однако, женщины, которых нельзя брать на одну ночь... Например, эта женщина...

– Я и для неё не сделал исключения, – сказал Дешелетт, с ясной улыбкой, показавшейся несчастному любовнику отвратительной.

– Ну, так это потому, что вы не возбудили в ней любви, иначе... Эта женщина, когда любит, то так вцепляется... У неё есть пристрастие к семейному уюту... Только не везет ей во всех попытках этого рода. Она сходится с романистом Дежуа – он умирает... Она переходит к Эзано – он женится... Затем настает очередь красавца Фламана, гравера, бывшего натурщика – она всегда увлекалась талантом или красотой – и... вы наверное слышали про это ужасное дело?..

– Про какое дело? – спросил Госсэн сдавленным голосом; и снова принялся сосать свою соломинку, слушая любовную драму, захватившую несколько лет тому назад весь Париж.

Гравер был беден и без ума от этой женщины; из боязни, что она его бросит, и для поддержания её роскошной жизни, он подделал банковые билеты. Уличенный тотчас, посаженный в тюрьму одновременно со своей любовницей, он был осужден к десятилетнему тюремному заключению, а ей были зачтены шесть месяцев предварительного заключения в Сен-Лазарской тюрьме, так как на суде была доказана её невиновность.

Каудаль напомнил Дешелетту, следившему в то время за процессом, как она была красива в маленьком тюремном чепчике, и как была мужественна, без тени слабости, как верна до конца своему возлюбленному... А её ответ этой старой тифле, председателю, а поцелуй, который она послала Фламанду поверх жандармских треуголок, крича ему голосом, способным тронуть камни: «Не скучай, друг мой!.. Вернутся еще красные деньки, мы еще будем любить друг друга»!.. Тем не менее, это несколько отвратило ее от семейной жизни, бедняжку!

– С тех пор, пустившись в мир элегантных людей, она брала любовников на месяц, на неделю, и никогда больше не сходилась с художниками... Уж и боится же она их!.. Я, кажется, единственный, с которым она продолжала еще видеться... Время от времени она приходила в мою мастерскую выкурить папиросу... Потом прошли месяцы, и я ничего не слышал о ней до того самого дня, когда встретил ее за завтраком с этим красивым мальчиком, кушавшей виноград с ветки, которую он держал в зубах. Я подумал: вот и опять попала моя Сафо!

Больше Жан не был в состоянии слушать. Ему казалось, что он умирает от того яда, который проглотил. После недавнего холода, теперь грудь сжигал ему огонь, и как раскаленное добела железо, охватывал его голову, в которой шумело и которая готова была треснуть. Он перешел через дорогу, пошатываясь среди колес экипажей. Кучера окликали его. Что нужно было этим болванам?

Проходя по рынку Мадлен, он был взволнован запахом гелиотропа, любимым запахом его любовницы. Он ускорил шаги, чтобы бежать от него, и в ярости, терзаемый бешенством, подумал вслух: «Моя любовница... Да, порядочная грязь!.. Сафо, Сафо! Подумать только, что я прожил целый год с ней!» Он гневно твердил её прозвище, припоминая, что встречал его в маленьких газетках, в числе других прозвищ легкомысленных женщин, в юмористическом Готском Альманахе любовной хроники: Сафо, Коро, Каро, Фрина, Жанна де Паутье, Тюлень...

Вся жизнь этой женщины, вместе с четырьмя буквами её отвратительного имени, грязным потоком проносилась перед его воображением. Мастерская Каудалья, ссоры с Гурнери, ночные дежурства у дверей притонов или на половике перед входом в квартиру поэта... Затем красавец-гравер, фальшивые деньги, суд... беленький тюремный чепчик, так шедший к ней, поцелуй, посланный поддельвателю банковых билетов: «Не скучай, друг мой». Друг мой! То же название, то же ласкательное слово, которым она зовет и его! Какой стыд! А! он смоеет с себя эту грязь!.. И все тот же запах гелиотропа, преследовавший его в сумерках того же бледно-лилового оттенка, как и эти цветочки.

Вдруг он заметил, что он все еще ходит по рынку, словно по паровой палубе. Он пошел дальше, быстро добежал до улицы Амстердам, твердо решив выгнать из своего дома эту женщину, вышвырнуть ее на лестницу без всяких объяснений, крикнув ей вслед в виде оскорбления её прозвище. У двери он поколебался, раздумывая, и прошел несколько шагов дальше. Она будет кричать, рыдать, выкрикивать на весь дом весь запас уличных ругательств как там, на улице Аркад...

Написать? Да, лучше написать ей, дать ей отставку в четырех словах, как можно более суровых! Он вошел в английскую таверну, пустынную и мрачную при свете газа, присел к грязному столику, вблизи единственной посетительницы, девицы, с лицом мертвеца, пожиравшей копченую лососину, ничем не запивая ее. Он спросил кружку эля, но не дотронулся до неё и принялся за письмо. Но в голове его теснилось слишком много слов, обгонявших друг друга, а загустевшее, испорченное чернило меж тем набрасывало их на бумагу чудовищно медленно.

Он разорвал два-три начатых листка, собирался уйти, наконец, ничего не написав, как вдруг чей-то жадный, набитый рот спросил его: «Вы не пьете?... можно?..» Он сделал знак головою, означавший: можно. Девица набросилась на кружку, осушила ее залпом, обнаружив этим всю свою нищету, так как у несчастной было в кармане как раз сколько нужно, чтобы утолить голод, но не на что было купить немного пива. В нем проснулось сострадание, смирившее его гнев и обнажившее перед ним внезапно ужасы женской жизни; он стал судить с большей человечностью и снова стал обдумывать свое горе.

В конце концов, она ему не солгала; и если он ничего не знал о её жизни, то это оттого, что он никогда о ней и не спрашивал. В чем он упрекает ее?.. В том, что она сидела в тюрьме?.. Но коль скоро она была оправдана и вынесена почти на руках из зала суда?.. Так что же? То, что она имела любовников до него? Разве он не знал этого?.. Разве можно сердиться на нее за то, что её любовники известны, знамениты, что он мог встречаться с ними, говорить, любоваться их портретами на выставках магазинов? Неужели он вменит ей в преступление то, что она предпочитала именно таких людей?

В глубине его души поднималась скверная гордость, в которой он сам не хотел себе признаться, гордость тем, что он делил её любовь вместе с этими художниками, и тем, что и они находили ее прекрасной. В его годы мужчина никогда не уверен, не знает наперед. Любит женщину, любит любовь, но глаз и опыта не хватает, и молодой любовник, показывающий портрет своей любовницы, ищет одобрения, которое успокоило бы его. Фигура Сафо казалась ему выросшей, окруженной ореолом, с тех пор как он знал, что она воспета Гурнери и запечатлена Каудалем в бронзе и мраморе.

Но внезапно, снова охваченный яростью, он вскакивал со скамейки, на которую в раздумье сел, на внешнем бульваре, среди кричавших детей, сплетничавших работниц, в пыльный июньский вечер; и принимался снова в бешенстве ходить, говорить вслух... Красивая бронзовая статуя «Сафо»... рыночная вещь, имевшаяся повсюду, пошлая, как мотив шарманки, как самое слово «Сафо», которое, пережив века, загрязнило свою первоначальную поэзию нечистыми легендами, и из имени богини превратилось в название болезни... Боже! Как все это отвратительно!..

Попеременно, то успокаиваясь, то приходя в ярость, он шел вперед, отдаваясь приливу противоположных чувств и мыслей. На бульваре темнело, становилось пустынно. В горячем воздухе ощущалась какая-то приторность; он узнал ворота огромного кладбища, где в прошлом году, вместе с массой молодежи, он присутствовал при открытии бюста Каудалья, на могиле Дежуа – романиста Латинского квартала, автора Cenderinette. Дежуа, Каудаль! Странно звучали для него теперь эти имена. Какою лживой и мрачной казалась ему история подруги студента и её маленького хозяйства, когда он узнал печальную подкладку, услышал от Дешелетта ужасное прозвище, даваемое этим уличным бракам!

Весь этот мрак, сгустившийся еще благодаря соседству кладбища, пугал его. Он пошел назад, сталкиваясь с мастеровыми, молчаливо бродившими, как ночные тени, и с женщинами в грязных юбках у входа в притоны, в окнах которых рисовались, как в волшебном фонаре, проходившие и обнимавшиеся парочки... Который час?.. Он чувствовал себя разбитым, словно рекрут к концу перехода; и от ноющей боли, сосредоточившейся в ногах, у него осталась одна только усталость. Ах, если бы лечь, уснуть!.. Потом, проснувшись, он скажет женщине, холодно, без гнева: «Вот... Я знаю, кто ты!.. Ни ты, ни я не виноваты; но мы не можем больше жить вместе. Разойдемся». А чтобы защититься от её преследований, он поедет к матери и сестрам, и ронский ветер, свободный и целительный мистраль, смоет всю грязь и ужас его кошмарного сна.

Фанни легла в постель, устав ждать его, и спала крепким сном под лампой, с раскрытой книгой на одеяле. Его шаги не разбудили ее, и он смотрел на нее с любопытством, как на новую, чужую женщину.

О, как она была прекрасна! Руки, шея, плечи словно из янтаря, без пятнышка, без малейшего изъяна. Но какая усталость, какое красноречивое признание в её покрасневших веках – быть может от романа, который она читала, быть может от беспокойства и ожидания, – в этих чертах, спокойных, не оживленных острой жадой женщины, желающей, чтобы ее ласкали и любили! Её годы, её жизнь, её приключения, её капризы, её минутные браки, Сен-Лазарская тюрьма, побои, слезы, боязнь – все можно было прочесть в них, и синева наслаждений и бессонных ночей, и складка отвращения, оттягивавшая нижнюю губу, утомленную, словно слив колодца, из которого пила вся деревня, и начинавшаяся полнота, растягивавшая кожу для старческих морщин...

Это предательство сна, среди глубокого мертвого молчания, окутывающего все, было величественно и мрачно; как поле сражения ночью, со всеми его ужасами, как видимыми, так и угадываемыми по смутным движениям тени.

Бедного юношу вдруг охватило огромное, непобедимое желание плакать.

Глава 4

Они кончали обед сидя у открытого окна, под протяжный свист ласточек, приветствовавших заход солнца. Жан молчал, собираясь заговорить, и все о той же жестокой вещи, которая преследовала его и которой он мучил Фанни с минуты своей встречи с Каудалем. Она, видя его опущенный взор и мнимо безразличный вид, с которым он предлагал ей все новые вопросы, угадала, и предупредила его:

– Послушай, я знаю, что ты мне скажешь... Избавь нас, прошу тебя... Нет сил, наконец... Ведь все это давно умерло, я люблю одного тебя, и кроме тебя для меня никто не существует!..

– Если прошлое умерло, как ты говоришь... – он заглянул в самую глубину её прекрасных глаз серого цвета, трепетавшего и менявшегося при каждом новом впечатлении. – Ты не хранила бы вещей, которые тебе его напоминают... там в шкафу...

Серый цвет глаз превратился в черный:

– Итак ты знаешь?

Приходилось проститься с этим ворохом любовных писем, портретов, с этим победным любовным архивом, который она не раз уже спасала от крушений.

– Но будешь ли ты мне верить после этого?

В ответ на скептическую улыбку, бросающую ей вызов, она пошла за лаковым ящиком, металлическая резьба которого, среди стопок её тонкого белья, так сильно заинтересовала в последние дни её любовника.

– Жги, рви, все это – твое...

Но он не торопился повертывать в замке крошечный ключик, разглядывая вишневые деревья из розового перламутра и летящих журавлей, выложенных инкрустацией на крышке, которую он вдруг резко открыл... Всевозможные форматы, почерки, цветная бумага, с золочеными заглавными буквами, старые пожелтевшие записки, истершиеся на складках, листочки из записных книжек, со словами, нацарапанными карандашом, визитные карточки, – все это лежало кучей, без всякого порядка, как в ящике, в котором часто рылись и, в который теперь он сам запускал свои дрожащие руки...

– Дай их мне! Я их сожгу на твоих глазах!

Она говорила лихорадочно, стоя на коленях перед камином; рядом с ней на полу стояла зажженная свеча.

– Дай же...

Но он сказал:

– Нет... погоди... – и полушёпотом, словно стыдясь, прибавил, – Мне хотелось бы прочесть...

– К чему? Тебе это будет тяжело...

Она думала лишь о его страданиях, а не о вероломстве с её стороны выдавать тайны страсти, трепещущие признания всех этих людей, когда-то любивших ее; подвинувшись к нему и не вставая с колен, вместе с ним читала, искоса на него поглядывая.

Десять страниц, подписанных Гурнери, помеченных 1861-м годом и написанных длинным, кошачьим почерком, в которых поэт, посланный в Алжир для официального отчета о путешествии императора и императрицы, описывал своей любовнице ослепительные празднества...

Алжир, кишачий народом, настоящий Багдад тысячи и одной ночи; жители всей Африки, собравшиеся вокруг города и хлопающие дверями домов, как налетевший Самум. Караваны негров и верблюдов, нагруженных гумми, раскинутые палатки, запах мускуса над всем этим бивуаком, расположенном на берегу моря; пляски ночью вокруг огней, толпа расступавшаяся каждое утро перед появлением начальников с Юга, напоминавших магов с их

восточной пышностью, с разноголосой музыкой: тростниковыми флейтами, маленькими хрипылыми барабанами, окружающими трехцветное знамя пророка; а позади, ведомые неграми под уздцы лошади, предназначенные в подарок императору, украшенные шелком, покрытые серебряными попонами, потряхивавшие с каждым шагом бубенчиками и шитьем...

Талант поэта оживлял все это и заставлял проходить перед глазами; слова сверкали как драгоценные камни без оправы, высыпанные ювелиром на бумагу. Поистине должна была гордиться женщина, к ногам которой бросались все эти сокровища! Можно было себе представить, как ее любили, ибо, несмотря на все очарование этих празднеств, поэт думал только о ней, умирал от того, что не видел ее:

«Ах, сегодняшнюю ночь я провел с тобой, на широком диване, на улице Аркад. Ты была безумна, обнаженная, ты кричала от восторга, осыпаемая моими ласками, когда я вдруг проснулся укутанный ковром на моей террасе, под сводом звездной ночи. Крик муэдзина поднимался в небо с соседнего минарета, словно яркая и чистая ракета, скорее страстная, нежели молящая, и я снова слышал словно тебя, просыпаясь от моего сна».

Какая злая сила заставила его продолжать чтение письма, несмотря на ужасную ревность, от которой у него побелели губы и судорожно сжимались руки? Нежно, лукаво, Фанни пробовала было отнять у него письмо; но он дочитал его до конца, а за ним второе, потом третье, роняя их после прочтения, с оттенком презрения и равнодушия, и не глядя на огонь в камине, вспыхивавший ярче от страстных и полных лиризма излияний знаменитого поэта. Порой, под наплывом этой любви, переходившей все границы среди африканской атмосферы, лирическое чувство любовника вдруг бывало запятнано какой-нибудь грубой, грязной выходкой, достойной солдата, которая удивила бы и шокировала бы светских читательниц «Книги любви», утонченно-духовной и чистой, как серебряная вершина Юнгфрау.

Страдания сердца! На них-то, на этих грязных местах и останавливался главным образом Жан, не подозревая того, что лицо его всякий раз нервно передергивалось судорогой. Он имел даже дух усмехнуться над постскриптумом, следовавшим за ослепительным рассказом о празднике в Айсауассе: «Перечитываю мое письмо... Многое в нем недурно; отложи его для меня, оно мне может пригодиться...»

– Этот господин подбирал все! – проговорил Жан, переходя к другому листку, исписанному тем же почерком, в котором ледяным тоном делового человека Гурнери требовал обратно сборник арабских песен и пару туфель из рисовой соломы. То был конец их любви. Ах, этот человек мог уйти, он был силен!

И, безостановочно, Жан продолжал осушать это болото, над которым поднимались горячие и вредные испарения. Настала ночь; он поставил свечу на стол, и прочитывал коротенькие записки, набросанные неразборчиво, словно чересчур грубыми пальцами, которые в порыве неутоленного желания или гнева дырявили и прорывали бумагу. Первое время связи с Каудалем, свидания, ужины, загородные прогулки, затем ссоры, возвраты с мольбами, крики, низменная и неблагородная мужицкая брань, прерываемая шутками, забавными выходками, упреками и рыданиями, весь страх великого художника перед разрывом и одиночеством...

Огонь пожирал все, вытягивал длинные, красные языки, среди которых дымились и корчились плоть, кровь и слезы гениального человека; но какое дело до этого было Фанни, всецело принадлежавшей теперь молодому любовнику, за которым она следила, и чья безумная горячка сжигала ее сквозь платье! Он нашел портрет, сделанный пером, подписанный Гаварни, со следующим посвящением: «Подруге моей, Фанни Легран, в трактире Дампьер, в день, когда шел дождь». Умное и болезненное лицо, со впалыми глазами, с оттенком горечи и муки...

– Кто это?

– Андрэ Дежуа... Я дорожу им только из-за подписи.

Он сказал «можешь оставить», но с таким жалким, принужденным видом, что она взяла рисунок, изорвала его на мелкие клочки и бросила в огонь; а он погрузился в переписку

романиста, в ряд горестных посланий помеченных зимними морскими курортами, названиями купаний, где писатель, посланный для поправки и отдыха, отчаивался и страдал физически и духовно, ломая себе голову, в поисках замыслов, вдали от Парижа, перемежая просьбы лекарств, рецептов, денежные профессиональные заботы, отсылку корректур – все тем же криком желая и обожания, обращенными к прекрасному телу Сафо, бывшему для него под запретом врачей.

Жан, в бешенстве, прошептал:

– Но что же, в самом деле, заставляло всех их так гоняться за тобою?..

Он видел в этом единственное значение этих отчаянных писем, раскрывавших всю неурядицу жизни одного из великих людей, которым завидует молодежь и о которых мечтают романтические женщины... Да, в самом деле, что испытывали все они? Каким питьем поила она их?.. Он переживал страдания человека, который, будучи связан, видит, как при нем оскорбляют любимую женщину; и, тем не менее, он не мог решиться сразу, закрыв глаза, выбросить все, что находилось в этой коробке.

Настала очередь гравера, который, будучи неизвестен, беден, не прославленный никем кроме «Судебной газеты», был обязан своим местом среди этих реликвий лишь огромной любви, которую она к нему питала. Позорны были эти письма, помеченные Мазасской тюрьмой, глупые, неуклюжие, сентиментальные, как письма солдата к своей землячке! Но в них, сквозь подражание романсам, слышался оттенок искренней любви, уважения к женщине, забвения самого себя, отличавшее от других этого каторжника; так, например, когда он просил прощения у Фанни в том, что слишком любил ее, и когда из канцелярии суда, тотчас по объявлении приговора, писал ей о своей радости по поводу того, что она оправдана и свободна. Он ни на что не жаловался; он провел вблизи её и благодаря ей два года такого полного, такого глубокого счастья, что воспоминаний о нем достаточно, чтобы наполнить его жизнь, смягчить ужас его положения, и он кончал просьбой оказать ему услугу!

«Ты знаешь, что у меня в деревне есть ребенок, мать которого давно умерла; он живет у старухи родственницы, в таком глухом углу, куда слухи о моем деле никогда не проникнут. Все бывшие у меня деньги я отослал им, говоря, что уезжаю в далекое путешествие, и рассчитываю, моя добрая Анни, что ты будешь время от времени справляться о несчастном малютке и сообщать мне о нем сведения»...

В доказательство забот Фанни, следовало письмо, полное благодарности, и еще письмо, написанное недавно, менее полугода тому назад; «Ах, как ты добра, что пришла навестить меня... Как ты была прекрасна, как ты благоухала, рядом с моею курткой каторжника, которой мне было так стыдно»... Жан прервал самого себя в бешенстве:

– Ты, значит, продолжала видеться с ним?

– Изредка, из сострадания...

– Даже когда мы уже жили с тобой вместе?...

– Один раз, единственный, в конторе... только там и можно с ними видеться.

– А! Ты, действительно, добра!..

Мысль, что, несмотря на их связь, она продолжала посещать этого каторжника, выводила его из себя. Он был слишком горд, чтобы признаться в этом; но последняя связка писем, перевязанная голубой ленточкой и надписанная мелким и косым почерком женщины, – довела его ярость до крайних пределов.

«Я буду переодевать тунику после бега на колесницах. Приходи ко мне в уборную»...

– Нет!.. нет!.. не читай этого!..

Фанни бросилась к нему, вырвала у него из рук и бросила в огонь всю связку писем; а он ничего не понял, даже при виде любовницы, обнимавшей его колени с лицом, залитым отсветом камина и краской позора, сопровождавшей признание:

«Я была молода, это – Каудаль... безумец... Я делала то, что он хотел».

Только тут понял он, и лицо его покрылось смертельной бледностью.

– Да, конечно... Сафо... «полная лира»... – И отталкивая ее ногой, как нечистое животное, продолжал, – уйди, не прикасайся ко мне, я не могу тебя видеть!..

Крик его потонул в ужасном грохоте, долгом и близком, меж тем как яркий свет осветил комнату. Пожар!.. Она выпрямилась, испуганная, схватила машинально графин на столе, вылила его на кучу бумаги, пламя которой пожгло накопившуюся в трубе сажу, затем схватила кувшин с водой, кружки, но, видя свое бессилие, так как пламя вырывалось достигая середины комнаты, побежала к балкону, крича: «Пожар! пожар»!

Первыми прибежали Эттэма, затем привратник, потом полицейские. Слышались крики: – Задвиньте чугунную доску в камине!.. Лезьте на крышу!..

Пораженные ужасом, они смотрели, как их квартира заполнялась чужими людьми, заливалась водой, грязнилась; затем, когда толпа народа внизу, при свете газа, рассеялась, когда соседи успокоились и вернулись к себе, они стояли посреди своей квартиры затопленной водой, выпачканной сажей, с мокрой, опрокинутой мебелью, и чувствовали такое отвращение и такую слабость, что не имели сил ни продолжать ссору, ни убирать комнаты. Что-то мрачное, низменное вошло в их жизнь, и в этот вечер, забыв свое отвращение к отелям, они отправились ночевать в соседний отель.

Жертва Фанни не повела ни к чему. Из писем, которые исчезли, которые были сожжены, целые фразы, заученные наизусть, не выходили у Жана из головы, и заставляли его внезапно краснеть, как некоторые места из дурных книг. Бывшие возлюбленные Фанни были почти все знаменитостями. Те, которые умерли, продолжали жить в памяти людей; портреты и имена живых виднелись повсюду, о них говорили в его присутствии, и всякий раз он испытывал стеснение, боль, словно от порванных семейных уз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.